



НЕЛЛИ ШУЛЬМАН

# СЕМЬ РАССКАЗОВ

Нелли Шульман  
**Семь рассказов**

«Издательские решения»

**Шульман Н.**

Семь рассказов / Н. Шульман — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-859032-0

Семь рассказов о любви и печали, о счастье и страдании, о путешествиях и встречах, о выборе и решении. Семь рассказов о прошлом и будущем.

ISBN 978-5-44-859032-0

© Шульман Н.  
© Издательские решения

## Содержание

Сестра моя, невеста моя	6
До конца ее	11
Конец ознакомительного фрагмента.	15

# **Семь рассказов**

**Нелли Шульман**

© Нелли Шульман, 2017

ISBN 978-5-4485-9032-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Сестра моя, невеста моя

Вечером накануне еврейского Нового Года от Полины ушел муж. Он остался в квартире, предстояло долгое оформление нужных документов, однако душа и сердце его были не здесь, а далеко, в пространстве звонков, сообщений и переписки с той, что несколько месяцев занимала его мысли.

Полина жила и двигалась потому, что так было нужно. Нужно было одеваться утром, выпивать чашку черного кофе, ехать на работу, вести совещания, распределять бюджет, урезать расходы и отвечать на письма. Нужно было расчесывать на ночь густые темно-рыжие волосы и втирать крем в мелкие морщинки у глаз. Нужно было сидеть в темном пространстве компьютера, где на связь выходили такие, как она, внезапно одинокие души.

Нужно было не помнить последние несколько лет, словно это был морок, сон, небытие, словно не ее, а другую женщину ночь за ночью отталкивали, не замечали, отворачивались, не позволяли.

Нужно было не плакать, молчать и улыбаться, застегивать по утрам на шее тонкую цепочку сверкающего злым бриллиантовым огнем кулона, вести машину и прятаться вечером за страницами книг или альбомов со старыми фотографиями.

На глянцевах, потрескавшихся страницах был дед Полины, спасшийся только потому, что летом сорок первого, его, восемнадцатилетнего, старшего сына в большой семье, забрали в армию, бросив в мясорубку Западного Фронта.

В поселке остались его младшие братья, близнецы Мотя и Яша, десятилетний Ефим, семилетний Лева:

– Бабушка даже плакала, что опять мальчик, – вспомнила Полина.

Все они, и долгожданная, поздняя дочка Анечка были расстреляны в песчаном карьере на окраине, вместе с родителями и еще тысячей евреев рабочего поселка в долине тихой реки.

Дед выжил на войне, даже став Героем. Вернувшись, он успел жениться на маленькой, длинноносой девушке из старой московской семьи музыкантов. Он

успел, оглушенный войной, написать о ней повесть и родить еще одну Анечку, мать Полины. Повесть он прочел только двум лучшим друзьям. Один из них потом сгинул там же, где исчезли дед и его скрипачка. Другой спокойно пережил все съезды и всех генсеков, умерев на излете века в профессорской квартире на Ленинском.

Повесть лет двадцать назад стали издавать и переиздавать, включать в хрестоматии, снимать фильмы и сериалы. Полина чувствовала, что ради памяти всех, кто не дожил, ей надо увидеть все своими глазами.

Ей никогда не хватало времени, но сейчас, думая о том, чтобы уехать и не возвращаться как можно дольше, Полина наконец-то добралась до вокзала. Она взяла билет на медленный, провинциальный состав до рабочего поселка, ставшего районным городом.

В переулке рядом с центральной площадью, где стоял крашеный серебрянкой маленький Ленин и громоздились лотки с одуряюще пахнущей антоновкой, Полина сразу нашла общинный центр, унылое одноэтажное здание, с потемневшими от времени стенами.

Нет ничего печальнее узких коридоров, с объявлениями, криво распечатанными на умирающем принтере. «Памперсы для взрослых только по предъявлению паспорта», «Запись к кардиологу закрыта». Рядом непременно найдется стенд из двух частей. Сверху, почему-то всегда кровавым кармином написано «УЗНИКИ» и «ОСТАЛЬНЫЕ».

Полина в таких местах ощущала себя узником всего – пышного плюща на стене, капающего в туалете крана, запаха пыли и валокордина. В холодной комнате, за стеклом, хранят пасхальное блюдо, присланное из столицы, засохший лулав, разрозненные сидуры.

Субботним утром здесь собирается несколько стариков. Дребезжащими голосами, вразнобой, они читают молитвенник. Потом долго пьют слабый чай, с бутербродами на засохшем хлебе и твердыми конфетами. Говорят они о детях и болезнях. Повторяются слова «диабет» и «Германия».

И все же это были свои старики, и женщина-администратор, в толстых очках, с неаккуратно покрашенными хной волосами, была своя.

– Пешком вам туда не дойти, – она оценивающе посмотрела на Полинины модные ботинки.

– У меня с собой кроссовки, – Полина похлопала по сумке.

– Все равно, – покачала головой женщина.

– Это за городом, я лучше вызову нашего шофера.

Как и всегда в такие моменты, Полина почувствовала неловкость. Для бедных провинциальных стариков и старух она была чем-то недостижимым и недоступным – москвичка, еще и из той всемогущей организации, что содержала общинный дом и платила за все остальное, до последнего куска сахара в чае.

Машиной оказался потрепанный жигуль, шофером, Володя, как его представила администратор, молчаливый человек, на вид годами немного старше Полины. Было что-то странно знакомое в его лице, – резкий очерк носа, насмешливый изгиб нижней губы, – словно проблеск света в разрыве туч, искра солнца, пробившаяся сквозь непроницаемую стену дождя.

Он вел машину аккуратно, иногда бормоча что-то неразборчивое, когда колесо попадало в особо глубокую яму. Полина следила за бараками по обе стороны дороги, за брошенной, ржавеющей техникой на остановленных стройках. Вокруг не было никого, только мелкий, непрерывный дождь и темная, ничья земля.

Они доехали почти до самого обрыва. Дальше шла грунтовка. Остановив машину, Володя указал вперед:

– Идите прямо, там увидите. Мой дед, – он запнулся, – говорил, что до войны там был песчаный карьер. После все залили водой. Болтают, что она всегда холодная, даже в июле.

– А что, купаются? – Полина надела кроссовки.

– Некоторые, – нехотя ответил шофер, – я лично не купался ни разу, даже мальчишкой. Полина медленно шла вперед, ощущая его взгляд.

– Так, собственно, они и брели, – женщина окинула глазами заброшенную землю, – и сосны были те же самые, и желтые листья на березах. Впереди был карьер и некуда было бежать.

Ей захотелось, чтобы кто-нибудь все-таки бежал, прятался по ночам, добирался и добрался до местных партизан.

Насколько Полине было известно, из расстрелянных в карьере тысячи двухсот не выжил ни один.

Присев на склоне, она пропустила между пальцев песок. Он был жизнью, а не литературой – легкий, вихрящийся под слабым ветром. Внизу лежало мертвое пространство воды, скрывавшей под собой размытые временем жизни.

Шофер смотрел на рыжую голову женщины. Ее черная куртка была словно мишень на белом песке. За последние несколько лет он возил сюда многих американцев, израильтян, москвичей. Они оставляли камни на склоне, – собралась довольно большая кучка, – и по дороге назад вытирали покрасневшие глаза. У рыжей тоже был с собой камень. Женщина достала из сумки простой серый булыжник с берега реки.

Володя почему-то был уверен, что она плакать не станет.

Сев в машину, она с преувеличенной осторожностью закрыла дверь. Ее глаза светились каким-то нездешним огнем, губы были сжаты, длинные пальцы беспрестанно теребили жемчужную нить на острых, выступающих под сухой кожей, ключицах.

– Хотите кофе? – внезапно спросил Володя, желая только одного, чтобы эта странная, высокая, худая, молчаливая женщина оставалась рядом как можно дольше.

– С удовольствием, – машинально ответила Полина. Она сразу обругала себя. О чем ей говорить с замкнутым человеком, изредка, – она чувствовала это, – глядевшем на нее с плохо скрываемым изумлением?

В полутемном кафе они говорили обо всем. У Полины, поездившей свое по командировкам, появилось знакомое ощущение случайного попутчика, соседа по креслу в самолете, которому можно рассказать сокровенное и расстаться, чтобы никогда больше не увидеть друг друга.

– Почему бы и нет? – в сумерках она ловила его взгляд, оббегающий ее всю, с ног до головы. Иногда Володя смотрел ей прямо в глаза. Полина, отворачиваясь, незаметно краснела.

В машине они поцеловались, сначала медленно, а потом, забыв о редких фонарях на улице, так, как когда-то, на берегу другой реки, Полина целовалась с будущим мужем, тем, кто сейчас уходил от нее.

Отстранившись, Володя провел рукой по ее волосам, блестящим на свету осенними листьями.

– Я не хотел говорить тебе этого, – его лицо потеряло юные очертания, и стало таким, каким, – Полина явственно это увидела, – оно станет в глубокой, еще далекой старости.

– Что? – продышала Полина, не в силах оторваться от него.

– Мой дед был в карьере. – Володя смотрел вдаль, в наступавшую на город тьму.

– Твой дед был еврей?

– Нет. – Володя помолчал: «Мой дед служил в РОНА, армии Каминского. Ты, наверное, слышала про местное самоуправление во время войны. Коллаборационисты».

– И? – Полина все еще не понимала.

– Мой дед был в пулеметном расчете. Он расстреливал тех евреев. Твоего деда и его семью тоже. – Володя положил руки на руль: «Извини. Я должен был сказать раньше».

Полина почувствовала, как боль, раздиравшая ее с Москвы, отступает.

– Все это неважно, – она закусила губу: «Это уже ничье, Володя, не наше. Важно только то, что здесь и сейчас. Правда». Она опять потянулась к нему, и мужчина не оттолкнул ее.

В его доме было тихо. Полина слышала их дыхание, звуки дождя, шелест деревьев, торопливые слова, из разряда тех, что либо забываются к утру, либо врезаются в память, раскаленным тавром, на всю жизнь.

В темноте ее тело светилось жемчужным, слабым отсветом. Полина потянулась, жадно, безудержно, к чему-то полузабытому, но ставшему таким же необходимым, как влажный воздух, как запах яблоневого сада из открытого окна, как шум дождя по старой крыше.

Вернулся ее давнишний кошмар. Что бы она ни делала, все было тщетно. Полина почувствовала его руки, отстраняющие ее, отталкивающие, отгоняющие прочь, в темноту и холод, где она увидит перед собой захлопнувшуюся дверь.

Отодвинувшись на другой конец дивана, сжавшись, она закусила губы. Володя смотрел вдаль, в другой конец комнаты, отводя глаза от ее лица.

– Это не ты, – наконец, сказал он, – это я. Я думал, что ошибаюсь, когда тебя увидел, но сейчас, наконец, понял все. Вот..., – положив что-то на стол, он отошел ко окну.

Полина взяла старый, выцветший снимок молодой женщины.

С фотографии смотрела ее мать. Тот же поворот сухощавой шеи, четкий очерк лица, длинный нос с заметной горбинкой, глаза цвета жженого сахара. Только мама коротко стригла волосы, а эта, неизвестная, уложила темно-рыжие кудри в аккуратную, напигованную заколками башню. Дед Полины назвал ее мать в честь этой девочки, своей младшей и единственной



сестры, Анечки, последыша, которую, наверное, прабабка несла на руках всю длинную дорогу до карьера.

Он вглядывался в еще темное, раннее утро. Даже не поворачиваясь, он чувствовал, что Полина не плачет. Она сидела за столом, положив перед собой длинные, сцепленные в сухой замок, пальцы.

– Бабушка пришла туда ночью, – сказал он, – и услышала детский плач. У моей мамы были прострелены ноги. То есть ножки, конечно..., – он понял, что не может продолжать. Однако женщина с волосами цвета палой листвы и карими глазами его матери молча ждала ответа.

Он провел пальцами по влажному стеклу, отчаянно желая увидеть еще раз золотистые огоньки в ее глазах, рядом с его лицом, тенью отражавшемся в непроходимой черноте окна. Он знал, что больше никогда не увидит внезапно вспыхнувшего света, не услышит ее низкого, хриповатого голоса, не ощутит прикосновение ее руки.

Песчаный карьер лежал между ними непроходимой преградой, и не было никакой силы, способной заставить их взглянуть друг на друга.

– Бабушка вытащила девочку из-под трупов и унесла в деревню, к дальним родственникам. Там ее держали в погребе, пока не ушли немцы..., – он спиной чувствовал темный, словно вода в карьере, взгляд Полины.

– Мой дед...

– Он не твой дед! – прокричала Полина измученным горлом, выжженным ночью, наполненным запахом яблок, дождем, ветром, песком, водой, ненавистью и любовью.

– Твоего деда расстреляли в карьере, с твоей бабушкой! Неужели ты об этом забыл?

– Каждый день..., – он заставил себя оторваться от окна и взглянуть на нее. В зыбком свете утра ее лицо казалось мертвым, несуществующим, словно он взглянул на него сквозь тяжелую воду карьера.

– Каждый день я помню об этом. Мою мать расстреливал человек, потом вырастивший ее. —

Он вернулся после войны? – спросила Полина.

– Он ушел с немцами. Потом вернулся. Отсидел десять лет и приехал к семье. Я его хорошо помню. Моя мама, – он запнулся, – дед ничего не знал. Бабушка сказала, что подобрала ее в какой-то сгоревшей деревне. Что она сирота. Мама тоже ничего не знала, пока бабушка не сказала ей перед смертью. А мама сказала мне.

– Она жива? – Полина сглотнула застрявший в горле комок:

– Сейчас он скажет – да, жива. Завтра, уже сегодня, мы поедем к ней. Она будет стоять на пороге и увидит меня. Господи, сделай так, чтобы она жила, пожалуйста, ради меня, ради деда, ради моей мамы, ради этого мужчины напротив, сшей, пожалуйста, эти разорванные жизни, соедини нас.

– Она умерла, когда мне было восемнадцать..., – Володя, наконец, нашарил на подоконнике сигареты. Он закурил, пряча лицо в ладони.

– И что теперь? – Полина сжала пальцы.

– Ничего, – он подавил желание шагнуть к ней, обнять все еще прямые плечи, спрятать ее в своем объёме, защитить, укрыть своим телом от бесконечного пулеметного огня, нашедшего своих последних жертв, через шестьдесят лет.

– Ничего. – повторил он. «Я отвезу тебя на вокзал».

– Но... – Полина замерла у стола, не решаясь перейти видимую только им двоим черту.

– Неужели ты не понимаешь? – он вдавил в консервную банку потухший окурок.

– Бабушка называла маму своим искуплением. Я тоже искупление, Полина. За все, что было, и что еще будет. Я должен остаться здесь». —

Чушь! – Полину бросило к нему. Она остановилась рядом, не осмеливаясь подняться на цыпочки, коснуться его, провести рукой по лицу, прикоснуться губами к щеке.

– Ты должен поехать со мной! Ты не один, у тебя есть семья.

– Моя семья там, – он махнул в сторону окна.

– Лежит под водой в карьере. И там, – он мотнул головой, – на городском кладбище. У тебя есть дети, Полина?

– Нет, – она тяжело опустилась на стул.

– И у меня нет. И не будет никогда. – Володя не мог больше смотреть на нее.

– Все может быть совсем по-другому, – тихо сказала женщина. «Мы можем быть вместе».

– Я никогда не смогу..., – он избегал ее взгляда, – быть с тобой. Я уже не смог. Прости.

Полина сползла на пол, обхватив руками колени. Ее распущенные волосы лежали на спине темной волной.

– Пусть не так, – сказала она, – пусть. Но кроме тебя, у меня никого нет. И, наверное, уже не будет. Володя поднял ее на ноги.

– Меня тоже нет. И не будет никогда. Мы ничьи, Полина. Как ничья эта земля, и ничья эта война. Никого не осталось, разве ты не видишь?

– Остались мы! – Полина вырвалась из его рук.

– Я отвезу тебя на вокзал, – повторил он. Полина поняла, что сегодня больше ничего сказано не будет.

Они ехали через рассветный город, город, наполненный запахом яблок и мелкого дождя, город серых стен и низкого неба, город одной их ночи и многих невыносимых дней, город, который она видела в последний раз.

Проходящий поезд, покачиваясь, уполз за горизонт. Володя все стоял на мокрой платформе, опустив руки, всем телом помня ее нежность, ее тишину, ее ласку, ее сладкий запах.

– Сестричка моя, невеста моя, замкнутый источник, запечатанный родник, – вспомнил он прочитанное давно, в другой жизни. Засунув руки в карманы, сгорбившись, он пошел под дождем через пустую привокзальную площадь к машине.

Полина смотрела сквозь запыленное окно купе на равнину, исхлестанную долгим ливнем, с размазанными колеями грузовиков, с облетающей в грязь листвой. Она бормотала в такт колесам, не замечая, как сплелись ее пальцы, из всех сил стараясь не плакать:

– Ничья война, ничья, война, ничья земля, ничья, земля ничья, ничья, ничья, не моя, не твоя, не наша, ничья, ничья...

В Москве, после работы, вечером, в начала поста, она добралась до светлого облака синагоги, торчавшей в путанице кривых переулков Китай-города. Полина поднялась на второй этаж, с кем-то здороваясь по пути. В глаза били золото и зелень недавно отреставрированных стен. Она прикрыла веки, всем телом вспомнив желтые листья берез, грунтовую дорогу и запах яблок в ночном городе.

Снизу грянул голос кантора, подхваченный хором: «Это замена моя, подмена моя, искупление мое». Уронив голову на барьер, отделявший ее от остального мира, Полина сладко, освобождено, безудержно зарыдала.

## До конца ее

До сих пор, видя свое имя на афишах, Фрида несколько стеснялась. Ей казалось, что все это, красным, жирным шрифтом, не про нее, и это, про лауреата, тоже не про нее, выросшую в двухкомнатной квартире над русским магазином, в той части Бруклина, где деревянный променад, чайки над морем, пенсионеры в трико.

Северный, сырой ветер лепил на бумагу хлопья то ли снега, то ли дождя. Подышав на замерзшие пальцы, Фрида с усилием открыла тяжелую дверь консерватории.

Она стояла одна перед пюпитром, пролистывая пожелтевшие ноты, прижав скрипку к подбородку. Сейчас надо было, подняв смычок, коснуться струн. Как всегда, не было ничего труднее.

Потом, когда черные следы побегут слева направо, сверху вниз, когда не останется ничего, кроме палочек и крючков, когда ее тело, начиная с кончиков пальцев, отзовется музыке, тогда будет легко. Но не сейчас.

В дверь постучали. Фрида поморщилась, она не любила, когда ей мешали репетировать. Сварливым, бабушкиным голосом, она велела: «Заходите».

– Я ваш аккомпаниатор, хотел познакомиться, – мужчина, по виду ее ровесник, прислонился к дверному косяку. «Извините, если помешал».

– Ничего, – отложив скрипку, Фрида протянула худую, с торчащими костяшками, холодную руку. Рука, пожавшая ее, была теплой, большой, раза в два больше ее детской лапки.

– Меня зовут Мартин, – он склонил голову, Фрида увидела вязаную крючком разноцветную кипу на золотистых, густых волосах. «Если вам что-то понадобится...»

– Хорошо, – раздраженно сказала она, чувствуя, как разница часовых поясов, усталость, начало мигрени, толкаются в ее голове, отпихивая друг друга, желая прорваться вперед, чтобы первым завинтить в правый висок острый штопор.

Везунчик, поплеывая на ладони, закрутит острие штопора дальше, пока оно не коснется мозга. Тогда останутся только огненные вспышки перед глазами и бесконечная, изнуряющая рвота. Другие, столпившись вокруг, будут подбадривать счастливец. Во всяком случае, так это всегда виделось Фриде.

Закрыв глаза, она несколько раз глубоко вдохнула. Когда она подняла ресницы, мужчины в комнате не было. Он так неслышно закрыл дверь, что Фрида ничего не почувствовала. Штопор в висок, впрочем, тоже не вонзился. Подняла смычок, она заиграла сонату.

Консерватория поселила ее в дорогом отеле на узкой улице, отходящей от рыночной площади. Летом солнце освещало холмы над быстрой рекой, рыцарский замок, прилепленный к откосу, играло в кувшинах белого, холодного вина.

Ковыляя по брусчатке, Фрида проклинала ледяной дождь и ноги, гудящие даже в благо-разумных туфлях на плоской подошве.

В номере, первым делом настроив интернет, она позвонила маме.

– У нас снег, – пожаловалась та:

– Отец вышел сегодня расчищать дорожки, его продуло, сейчас лежит. Я тебе давала пояс из собачьей шерсти, когда ты летала в Стокгольм, а ты его до сих пор не вернула. Сейчас бы он пригодился.

В Стокгольм Фрида летала играть на Нобелевском банкете. Никакого пояса под струящееся, шелковое платье, она, конечно не надевала. Она даже не вытащила его из пакета, в котором он лежал у мамы. Фрида увидела проклятый пакет, в гардеробной, на второй полке справа.

Говорить маме, что за поясом надо ехать на Манхэттен, было нельзя. Это вызвало бы жалобы на погоду, на то, что отца, с радикулитом, диабетом и давлением, нельзя оставить

одного. Фриде пришлось молча выслушать еще несколько жалоб на ее безответственность и бесхозяйственность.

Простились они, тем не менее, нежно. Отсюда Фрида должна была лететь в Лондон. Как всегда, мама попросила ее привезти чаю. Почему-то они никогда ничего не просили, кроме чая, хотя тот же самый чай можно было купить в супермаркете в десяти минутах езды от дома.

В бруклинском русском магазине стояли пачки чая со слонем. Маленькая Фрида любила играть с блестящей, плотной фольгой. Из нее можно было делать тиары и короны, репетировать книксены перед высоким зеркалом, откуда на нее смотрела худенькая девочка со слишком пышными для тонких губ и горбатого носа волосами, девочка с глазами цвета чайной фольги.

– Целую вас. Папе привет большой, – женщина вытянулась на огромной, занимавшей половину комнаты, кровати. Скрипку и смычок она положила рядом, касаясь их рукой.

В полутьме комнаты ее Гварнери отсвечивал медовыми блестками. Инструмент был грубого бронзового цвета, немного вытертый, цвета ее волос, рассыпавшихся по белоснежной подушке.

Подцепив струну ногтем, Фрида поежилась. В пустой комнате звук был особенно неприятен, будто и не осталось на свете ничего, кроме дождя за окном, кроме темноты страны вокруг, кроме холода и одиночества.

С утра они репетировали с Мартином. Фрида, на чьей памяти был о много аккомпаниаторов, ожидала худшего, невнимательности и того, что человек не будет ее слушать.

Однако Мартин не просто слушал, он слышал. Склоняясь над роялем, искоса глядя на нее, он улавливал самое маленькое движение пальцев, мгновение, когда она застывала, поднося смычок к струнам, сотую долю секунды, когда Фриде казалось, что между ней и музыкой лежит бесконечное пространство, которое она не в силах заполнить.

– Вы словно боитесь музыки, – сказал он, когда Фрида в перерыве пила кофе.

– Это комплимент, – торопливо добавил он, – я имел в виду, что не боитесь, а уважаете.

Фрида даже улыбнулась, таким хорошим был кофе:

– Нельзя думать, что ты все можешь. Это плохо кончается. Все может только Бог.

– Вы верите в Бога? – он забрал у Фриды чашку: «Я уберу».

– Как сказать? – она задумчиво перелистала ноты.

– Несомненно, есть высшая сила. Мы играем Тартини..., – она повернулась к Мартину.

– Играем, – он мимолетно улыбнулся.

– Тартини приснилось, что ему играет дьявол. А кому-то, наверное, приснилось бы, что играет Бог. Впрочем, я в дьявола не верю.

– Я верю, – пробормотал Мартин, усаживаясь за рояль.

Фрида подняла бровь.

– В этой стране, – он помолчал, – начинаешь верить, что есть дьявол. Хотя, что есть Бог, тоже веришь. Кстати, Тартини влюбился в ученицу, и бежал от любви в монастырь.

– Где ближайший? – Фрида подняла смычок: «Давайте играть».

Они вышли из консерватории в час, когда небо, неожиданно очистившись от завесы туч, стало таким, каким оно и должно быть здесь, среди веселых холмов, высоким, голубовато-золотистым, с брусничной полосой внизу, где укатывалось за горизонт солнце.

Лужицы на мостовой покрылись тонким, еле заметным ледком. Фрида вспомнила громяхующий на запад, через мост, серый поезд метро, отсветы заката в окнах бесчисленных небоскребов.

– Хочется гулять, – вдруг сказала она.

– Вы не замерзнете? – спросил мужчина.

– У вас наверняка найдется шарф. Или глинтвейн. Или и то, и другое, – натянув перчатки, Фрида посмотрела на него снизу вверх. «Ведите. Или вы, как говорят, на моей далекой родине, не местный?»

– Я думал, вы из Нью-Йорка, – Мартин открыл перед ней дверь.

– Там тоже так говорят, – Фрида вдохнула ломкий, колючий вечерний воздух.

– Я самый что ни на есть местный, – он пошел рядом с Фридой, примериваясь к ее шагу. «Могу даже показать, насколько».

– Давайте, – она взглянула в его глаза, синие, как самое глубокое, предзакатное небо.

Она почему-то думала, что Мартин поведет ее домой, но они пришли на кладбище, долгое пространство на склоне холма, покрытой пожухлой, в изморози травой, с расставленными в беспорядке плитами старого мрамора.

– Это не еврейское, – она подошла к одному из памятников, с выбитым крестом.

– Еврейского больше нет. Его разгромили в Ночь Разбитого Стекла.

Последнее слово он сказал по-немецки. Фрида поежилась – острое слово, злое, как длинный, притаившийся на кухонном полу осколок бокала, который только и ждет, чтобы вонзиться в мягкую плоть ладони, пониже большого пальца.

– Потом туда упала бомба, во время войны. После войны евреев здесь не осталось, – закончил Мартин.

– Но вы? – Фрида кивнула на его кипу.

– Я не еврей, – он добавил: «Пока еще».

– А, – Фрида повернулась к нему спиной.

В шестнадцать лет она выиграла стипендию от иерусалимской консерватории. Она провела три месяца в раскаленном, душном городе, отбыв девяносто дней уроков и упражнений, до пота, до мигреней, до боли в кончиках пальцев.

Ее учителем был один из тех, кого вывели отсюда на пароходах и поездах, закутанных, запуганных, с одними глазами, торчащими из-под шапок и платков. Родители успели всунуть ему скрипку, детскую маломерку в одну четверть, такую же, на которой играла когда-то трехлетняя Фрида.

Маломерка висела на белой стене класса, единственное, что осталось от его родителей, от его семьи и от всего народа ушедшего в дым. Иногда она отзывалась на звуки скрипок учеников, бормоча что-то свое, непонятное.

– Могила моего деда, – Мартин остановился перед гранитной плитой. Под крестом были даты жизни:

– Почти сто лет, – посчитала Фрида. Она сжала зубы, чтобы ничего не сказать. Под крестом что-то написали по-немецки, готическим шрифтом, которого она не знала.

– Я есть воскресение и жизнь, – перевел ей Мартин. «Это из Евангелия от Иоанна».

– Он верил в Бога?

– Он был пастором. Он всю жизнь служил в одной и той же церкви, мы мимо нее проходили, серая такая. С сорок второго года и по конец войны он сидел в концлагере. Лагерь неподалеку, но вы, скорее всего, про него не слышали. Мартин помолчал: «Он был местного значения».

– За что он сидел? – спросила Фрида, ожидая услышать про пацифизм и проповеди.

– Он спрятал две еврейские семьи и переправил их в Швейцарию. Вообще за это полагался расстрел, но деда в городе очень уважали. Моя семья здесь живет пятьсот лет, и всегда кто-то из нас был пастором. Его не решились казнить..., – Мартин перешел к другой могиле. «Это мой отец. Он тоже был священник, но я его не помню. Он погиб, когда мне было два года».

– Погиб? – Фрида посмотрела на плиту. Цитата была другой.

– «Провозгласите свободу по всей земле». Это из Ветхого Завета.

– Я знаю, – Фрида засунула руки поглубже в карманы. Солнце зашло, ветер был злым, кусачим, шелестела оставшаяся на деревьях поржелая листва. В сумерках ее глаза теряли блеск и становились бездонными озерами свинца. «У меня была бат-мицва, правда, в русском ресторане».

– Мой отец был пастором в Западном Берлине, я там и родился. Его застрелили на границе, когда он помогал переводить беженцев. Пойдемте отсюда, холодно, – Мартин подал ей руку, Фрида приняла его ладонь.

– Где здесь синагога? – спросила она на пути в гостиницу.

– Здания больше нет. Сначала ноябрь тридцать восьмого, потом бомбежки... – он помолчал:

– После войны решили не восстанавливать руины. У нас есть культурный центр. Раввин приезжает раз в две недели, проводит службу, занимается с такими, как я.

– Спасибо, – Фрида остановилась у входа. «До завтра тогда. Не забудьте, репетиция за два часа до концерта».

Она зашла внутрь, в тепло, чувствуя на себе, всей спиной, острыми лопатками, густым узлом волос, его взгляд.

С утра, сев на медленный пригородный поезд, она поехала в концлагерь. Собственно, от него осталось одно название и монумент, семь скошенных бетонных плит на равнинном здесь берегу реки. Постояв рядом, промокнув под мелким дождем, Фрида положила камень к основанию одной из плит. Она не знала, содержали ли в лагере евреев, но это было совершенно неважно.

По имени ее часто принимали за знойную латину с усиками над губой и крутыми бедрами, и удивлялись, видя тщедушную, узкогрудую девушку с костлявыми пальцами и бледными, впалыми щеками.

Ее бабушка, Фрида Моисеевна, которую беременной вывезли по Дороге Жизни, судя по довоенным фото, была таким же слабогрудым, хилым чадом переулков в еврейском квартале за Хоральной синагогой, выросшим в дворе-колодце, не нюхавшим ничего, кроме гнилой воды каналов и сырого западного ветра. Она преподавала по классу скрипки в музыкальной школе.

Родив, она быстро умерла, то ли от осложнений, то ли от дистрофии. В промерзшем насквозь вологодском роддоме в январе сорок второго никто не стал разбираться, от чего. Политрук написал на фронт, мужу умершей, девочку, которую родильница еще успела назвать Анечкой, препоручили заботам бутылки и радостям Дома Малютки военного времени.

Девочка, на удивление, оказалась живучей, как кошка. Она цеплялась за существование, во вшах и фурункулах, безъязыкая, с официальным вердиктом отстающей в развитии, до самого июля сорок пятого.

Отец ее вернулся с войны без руки и с новой женой, белорусской Валею. Ребенка забрали, отмыли, придели и обнаружили, что девочка все слышит, понимает и говорит. Валя не была злой мачехой. Доброй, она, впрочем, тоже не была. Была обыкновенной.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.